

Константин Михайлович Станюкович

БЕГЛЕЦ

I

Чуть-чуть покачиваясь на затихавшей зыби и вздрагивая от быстрого хода, подходил наш клипер к берегам Калифорнии.

Было прелестное сентябрьское утро. Солнце уже высоко поднялось на ярко-голубом небе, подернутом белоснежным кружевом убегающих перистых облачков, и заливало палубу ярким блеском. От присмирившего океана веяло свежестью и прохладой. Дышалось полною грудью.

Обрывистые красные берега, окутанные по верхам золотистой дымкой тумана, уж отчетливо видны простым глазом. Вдали, на высоком холме, у входа в бухту, белеется башня маяка. Все чаще и чаще попадаются навстречу суда, и малютка-пароходик, с ярким флагом на мачте, поднимаясь с волны на волну, несется к клиперу. Это – лоцман, и с ним, конечно, пачка последних американских газет.

Все вышли наверх из душных кают, и палуба забелела множеством матросских чистых рубах. Все празднично настроены. Все просветлели, охваченные радостным ожиданием «берега».

После тридцатидневного бурного перехода с постоянной качкой, тревожными вахтами со шквалами, дождем и нередкими окриками боцмана среди ночи: «Пошел все наверх третий риф брать!», – после прискучивших консервов за обедом и однообразных разговоров в кают-компании, надоевших всем, как и физиономии друг друга, после скучных стоянок в китайских портах, – эта «жемчужина Тихого океана», как называют янки Сан-Франциско, сулила немало удовольствий. Всем хочется поскорей увидеть этот диковинный город, выросший со сказочной быстротой, и среди молодых офицеров уже идут оживленные толки о съезде на берег.

И на баке – этом матросском клубе, где устанавливаются репутации и обсуждаются все выдающиеся явления судовой жизни, – вокруг кадки с водой для курильщиков (в другом месте курить матросам нельзя) собралась толпа. И там разговоры, разумеется, о «береге».

Общий любимец, добродушный, веселый и смелый до отчаянности марсовой Якушкин, которого все почему-то зовут Якушкой, хотя Якушке уж под сорок лет, – передает свои впечатления о Сан-Франциско, где он был три года тому назад, когда в первый раз ходил в кругосветное плавание.

По словам Якушки, город веселый, народ бойкий и живет вольно, кабаков много, и водка хорошая – виска по-ихнему; табак – дрянь против нашего, зато шерстяные рубахи можно похвалить: носки и дешевы.

– А насчет чего другого-прочего, братцы, так дорого...

Он ухарски подмигнул бойким черным глазом из-под темных взъерошенных бровей, придававших его смуглому, широкому, скуластому лицу с шапкой на затылке забубенный вид заправского лихого матроса, прижал корявым, почерневшим от смолы пальцем огонь в своей трубочке, цыкнул по-матросски в кадку и, расставив свои короткие, крепкие босые ноги фертом, не торопясь, прибавил:

– Зато и форсисты шельмы, я вам скажу!

– Ну?! – раздалось из толпы.

Очевидно, довольный произведенным эффектом, Якушка продолжал:

– Но только пьяного, братцы, не пуцают... ни боже мой! А ежели ты пришел пьяный, тебя сейчас мамзель честью по загревку... И не пикни! Потому у их бабам уважение. Какая ни есть, а уважать!

В толпе смеются. На многих лицах недоверие, и кто-то иронически замечает:

– Чудно что-то, Якушка!

– Чудно и есть, а только я верно вам говорю – бабу обидеть не смей!

Молодой белобрысый матросик с большими добрыми голубыми глазами, не успевший еще потерять на службе своей деревенской складки, все время необыкновенно внимательно слушавший Якушку, вдруг спросил, застенчиво улыбаясь:

– А какой державы, Якушка, народ?

– Американской, паря, державы.

И хотя этот ответ ровно ничего не объяснил молодому матросу, тем не менее он кивнул головой с видом удовлетворения, затаился окурком и, бросая его в кадку, заметил в форме вопроса:

– Тоже, значит, у их свой король есть?

– То-то вот, братцы, нету! – отвечал Якушка, обращаясь ко всем, таким тоном, словно бы он извинялся за американцев. – Оголтелый народ! – неожиданно прибавил он, как бы вдруг сам проникаясь странностью сообщенного факта.

– Нечего сказать, народ! – заметил кто-то в толпе.

– Однако тоже и у них есть свое начальство. Выберут промеж себя какого-нибудь сапожника, вроде будто начальника, вот тебе и вся недолга!

– Без начальства шалишь, брат! – раздался чей-то голос.

– А живут, надо правду говорить, хорошо. Хо-ро-шо, братцы, живут! – продолжал Якушка. – Взять к примеру: простая мастеровщина, а харч у него завсегда мясной, и виску трескает, и хлеб пшеничный... И насчет одежды чистый народ! Эшто шляпу на затылок надел, сам в пинджаке и щиблетках, курит себе сигарку и поплевывает. Думаешь: господин какой, а он всего-навсего – рабочий человек!.. Да у их и не узнать: кто из господ, кто из простых...

– Ишь ты! Видно, житье? – дивуются матросы.

– Житье и есть! Земли много у них – земля вольная. И опять же: копают золото. Копай кто хочет, заказу нет. Раздобыл – твое счастье... Вольная сторона! В эти места, сказывают, со всего свету народ бежит.

– Который человек ежели бога забыл, тот и бежит! – проговорил строгим внушительным тоном старик плотник Захаров. – Правильный человек не побежит... Ты живи, где тебе назначено... На своей стороне живи... вот что!

– Да и пропадешь у этих идиолов! Ни он тебя не поймет, ни ты его! – вставил другой матрос. – Недаром говорится: «На чужбинке словно в домовинке!»

– И как это бросить свою сторону да в этакую даль! – раздумчиво промолвил белобрысый матросик. – Небойсь, наш российский сюда не побежит?

– Бога еще помнят наши-то! – опять строго произнес плотник.

– Однако один и наш сбежал, когда мы во Францисках стояли! – значительно проговорил Якушка.

– Наш?!

– Наш и есть... Поди ж ты!

В эту минуту подходил лоцманский пароходик, и все обратили на него внимание.

Клипер приостановил ход. Пароходик подлетел к борту, приняв на ходу брошенный с клипера «конец», и, ссадив лоцмана, пошел прочь. Поднявшись по трапу, на палубу выскочил высокий сухощавый янки в черном сюртуке и высоком цилиндре, кивнул головой, проговорив приветствие, и поднялся на мостик. Там он поздоровался, первый протягивая руку, со стоявшими офицерами, отдал пачку газет, радостно сообщил, что на днях вздули южан (дело было во время междуусобной войны ¹), и, заложив руки назад, зашагал по мостику.

Клипер снова пошел полным ходом.

– Ишь ведь мужлан! – сердито проговорил старый плотник, видимо недовольный американцем за его слишком свободное обращение с капитаном. – А еще образованные люди.

И многие среди матросов были, по-видимому, шокированы, хотя и ничего не сказали.

– Так как же наш-то сбежал? Сказывай, Якушка! – нетерпеливо спросил кто-то.

Якушка оглянулся. Я стоял подле. Но присутствие юного гардемарина не смутило матроса. Он, не спеша, выбил золу из трубки, сунул ее в штаны, обвел взглядом теснее сдвинувшийся кружок и начал.

II

¹ ...дело было во время междуусобной войны... – Имеется в виду гражданская война в США 1861–1865 гг.

– Был, братцы вы мои, у нашего, у первого лейтенанта Прокудинова взят с собой из России крепостной лакей. Максимкой звали. Паренек молодой и, ничего себе, башковатый, но только, надо правду сказать, много он от своего барина понапрасну бою принял.

– Сердит барин был?

– Как есть, цепная собака! Чуть что не по нем или ежели какая неисправка, сейчас лезет в морду и норовит, чтобы до крови... И вовсе не жалел нашего брата – лют этто был на порку. У нас тогда, братцы, не то что теперь, при нашем «голубе»², шкуры матросской не жалели! Ребята так и звали Прокудинова Мордобоем... Мордобой и был! Многие из господ, которые пожалостливей, бывало, довольно даже срамили его за зверство... да ничего не брало – сердцем был зол Мордобой! Другой, хоша и вдарит тебя, так с пылу, а этот дьявол всегда дрался от злого сердца, с мучительством...

– Да... Есть такие... У нас вот был тоже один, так все перстнем тыкал в зубы... Много их повышиб! – авторитетно вставил один коренастый пожилой матрос.

– Ну, и часто-таки попадало Максимке в кису, потому Максимка молчит, молчит, как покорный слуга, да вдруг и сдерзничает. А уж тогда только держись! Сейчас этто Максимку на бак и прикажет всыпать... Максимка воем воеет, а Мордобой линьки считает про себя да приговаривает; «Жарь его, подлеца!» И раз, я вам скажу, здорово Максимке всыпали – очень уж он согрубил, и вовсе заскучил с той поры Максимка. Пришел этто он вечером ко мне, смотрит на море и плачет, как дите малое, слезами. «Решусь, говорит, лучше жизни... Окиян, говорит, глыбок!» Известно, парнишко молодой, двадцати годов еще не было! А до того жил он у портного-немца в обученье, и был этот немец, сказывал Максимка, жалостливый и справедливый немец. Максимке, значит, и терпко после хорошей жизни да к Мордобоем! Ну, я всячески обнадеживаю человека: потерпи, мол, Максимка, скоро, говорю, выйдет вам вольная воля – уж тогда про волю слух прошел, – а пока знай себе молчи и не дерзничай... Что, мол, с этим зверем связываться! И пустяков не ври, говорю. Решиться жизни – большой грех. Бог дал, бог и возьмет ее, когда захочет! Мы, мол, не хуже тебя, а тоже терпим. Слушал этто он, утер слезы, да и говорит, «Я, говорит, потерплю, но только долго, говорит, терпеть, Якушка, не согласен. Силушки моей на то, говорит, нет!» Хорошо. Ходили, мы таким родом, братцы, по разным местам и пришли этто во Франциски. Вскорости после того побывал Максимка на берегу, и как вернулся – диковина: совсем быдто другой стал Максимка – веселый такой. Пришел он на бак, у самого под глазом синяк – Мордобой вечор съездил, – а Максимка куражится. – Что, Максимка, смеются ребята, никак твой Мордобой доллар тебе на гулянку дал? «Даст, дьявол, жди!», а сам скалит зубы... В те поры мне и невдомек, что он выдумал.

Якушка помолчал, затянул наскоро, взяв у соседа трубку, сплюнул и продолжал:

– Ладно. Простояли мы этак ден пять, вытянули ванты, выкрасились и, как справились, отпустили нашу вахту на берег. Отпросился у своего Мордобоя и Максимка. Обрядился в новый пинджак, как следует – любил он форснуть – на баркас. Сел около меня, а сам глядит на «конверт»³ и будто глаз отвести не может. «Что, говорю, буркалы уставил? Конверта, что ли, не видал?» Смеется. Отвалили от борта, а Максимка шляпу снял и кланяется. «Кому ты, дурак?» – «А всем, говорит, землякам родимым». Куражится, думаю, парень. Рад, что на берег урвался. А он и взаправду тогда прощался!.. Хорошо. Пристали мы к пристани. Ребята разбрелись по салунам – это у них вроде как кабаки наши, только почище будут наших, – тут же по близности, а я с двумя товарищами собрался перво-наперво в лавки – покупать рубахи. Максимка увязался с нами. И только чудной он был какой-то в тот день! Идем это мы по улицам, глаза пялим, а он вдруг об России вспоминает, про деревню, как при матери рос, какая у него мать была... совсем не к месту разговор... Купили мы себе рубахи, пошлялись малость по городу и пошли назад к пристани и зашли в салун, где наши собрались. Народу

² Так звали матросы капитана за его человеческое отношение к матросам. Еще задолго до официального уничтожения телесных наказаний, линьки и розги были изгнаны из употребления на клипере. (Прим. автора.)

³ Вместо «корвет» матросы всегда говорят «конверт». (Прим. автора.)

пропасть! Шумят, гуляют, значит, матросики! Ну, сейчас это мы потребовали виски этой самой, сели за столик, сидим, пьем и рыбкой сладкой закусываем, слушаем, как наши песни поют, а Максимка ничего в рот не берет. «Не хочу», говорит. Сидит и все только на двери поглядывает. Только спросил, когда на конверт велено ворочаться? «К восьми», говорю. Прошло этак с час времени. Отошел я к ребятам, вернулся, а уж Максимки нет. «Где Максимка?» Товарищи не знают. Кто-то говорит, «Верно, Максимка с ребятами к мамзелям ушел». Ну, ладно. Выпили мы еще бутылку и тоже пошли мамзелей здешних смотреть... Хороши, шельмы!

Якушка усмехнулся, повел глазом и продолжал:

– К вечеру повалили на пристань... По дороге еще выпили. Идем это человек пять... Я иду, маленько поотставши, и вдруг слышу, кто-то тихо окликает: «Якушка!» Гляжу, а сбоку, в узком таком проулочке, у фонаря стоит Максимка. Я к нему, и хоть был я, братцы, здорово треснувши, а вижу, что с Максимкой что-то неладное: с лица побелел, весь ровно дрожит, а только все зубы скалит – себя куражит. «Ты что тут делаешь, Максимка? Валим, говорю, на баркас. Опоздаешь – Мордобой не погладит, небойсь!» – «Тише, говорит, Якушка... Я, говорит, давно поджидаю тебя, хочу проститься, потому ты добер был. Давече я побоялся при других открыться, а теперь откроюсь: на баркас я не пойду и на конверт меня больше не ждите!» Весь хмель выскочил у меня из головы. «Ополоумел ты, что ли, Максимка. Идем скорей, глупая голова!» А он свое: «Не пойду, довольно, говорит, терпеть, я здесь останусь!» Тут я давай его уговаривать: «Опомнись, Максимка! Что выдумал? Пропадешь, говорю, как собака, на чужой стороне!» – «Не уговаривай, говорит, Якушка. Уж я, говорит, сговорился здесь с одним поляком... Я, говорит, не пропаду, а вольным человеком стану, буду по портной своей части. И есть, говорит, у меня прикопленных сорок долларов, что за починку от господ насбирал. Нарочно, говорит, для такого случая копил. А затем прощай, говорит, голубчик... догоняй своих и не поминай лихом!..» И не успел я, братцы, Максимку силком удержать, как он фукнул в проулок, и след его простыл.

– Эка отчаянный, прости господи! – вырвалось чье-то восклицание среди притихших слушателей.

– Догнал я, братцы, своих и ничего не сказываю. И самому боязно, как бы в ответе не быть, и Максимку жалко: пропадет, думаю, ни за грош. Хорошо. Пришли на пристань. Мичман проверил. «Все, кажется?» – «Все, ваше благородие, кроме Максимки, лейтенантского камардина!» – отвечает унтер-офицер. «Его, видно, барин ночевать отпустил! – смеется мичман. – Не казенный он человек – садись, ребята, на баркас!» Сели и отвалили. Пристали к конверту и сейчас же нам роздали койки. Спустился я в палубу, подвесил койку, разделся, лег спать, но только нет у меня сна, братцы... Все Максимка в мыслях. А как беднягу поймают? Ведь Мордобой не простит.

– Шкуру спустил бы! – вставил кто-то.

– Шкуру – шкурой, да потом в Сибирь или в солдаты... Злопамятный он, Мордобой... Только лежу это я в койке и слышу вскорости он кричит: «Максимку послать!» (Мичман-то был добрый и не сказал, что Максимка не приехал.) «Так и так, ваше благородие, доложил вестовой, Максимка с берега еще не вернулся». – «Ах, он такой сякой! Завтра узнает, как без спросу опаздывать! Как вернется, тую ж минуту ко мне послать подлеца!» Ему и не в догадку, что Максимка вовсе остался. Ладно. Прошел этак день!.. Максимки нету, и тут уже, должно, Мордобой догадался, что дело неладно. Вестовые после сказывали, что озверел он в те поры совсем, забегал по кают-компани и кричит: «Со дна морского достану и насмерть заporю неверного раба!» Другие офицеры ему по-французски, стыдили, значит. После того он шарахнулся в каюту, как угорелый – давай проверять, целы ли деньги и вещи...

– Целы? – вырвался нетерпеливый вопрос у многих слушателей.

– Все, как есть, целехонько...

– То-то! – вдруг проговорил белобрысый матросик, и все его доброе лицо озарилось радостной улыбкой.

– Не такой Максимка был человек... Бывало, окурка попросишь, и то отказывал, чтоб не связываться, а не то, чтобы... Хорошо... Вышел этто Мордобой из каюты и марш к капитану с докладом, что камардин, мол, пропал. Что они там с капитаном говорили – никому неизвестно,

но только вышел он от него, как говядина, красный. Видно: напел ему. Командир хоть и сам любил драться, но отходчивый был и зря не обижал, нечего говорить... Сейчас после того стал Мордобой доискиваться: с кем да с кем был Максимка на берегу. Призвал и меня. «Видел, говорит, Максимку?» – «Видел, говорю, ваше благородие, вместе в салуне сидели». – «А потом?» – «Не видал, говорю, ваше благородие!» – «Куда он после ушел?» – «Не могу, мол, знать!» – «Сказывал тебе, что бежать собирается?» – «Никак нет!» – отвечаю. – «Ой, говорит, правду показывай, а не то Сидорову козу из тебя сделаю, так твою так!» И с этим словом в зубы... Раз... другой... Молчу. – «Все вы, говорит, подлецы!» И опять чешет. Кровь идет... «Не могу знать!» Насилу отстал, спустился вниз, оделся в вольную одежду⁴ и на берег, к концырю⁵, чтоб объявку в полицию подать... Ну, думаю, беда... поймают теперича Максимку... Однако к вечеру Мордобой вернулся ни с чем... сердитый такой... После уж узнал я от людей, что здесь, братцы, не так-то легко разыскать человека. Почпортов нет, прозывайся, как знаешь. И если ты убежал, да ничего не украл – живи с богом, твоя воля!

– Ишь ты... Так и не искали Максимку!

– Искали. Мордобой, сказывали, сотни две долларов извел сыщикам, чтобы Максимку заманить и силком привезти на конверт. Каждый день съезжал на берег да только даром деньги извел. Вскорости приехал концырь и говорит этому самому Мордобой: «Плюньте вы на вашего Максимку, ежели, говорит, он такая каналья, что от своего барина убежал, – не стоит он, подлец, чтоб из-за него хлопотать. И напрасно, говорит, вы меня не послушались, как я вам раньше объяснял. Денежки-то ваши ухнули, у вас их сыщики взяли, да Максимки не нашли. И не могли, говорит... Здесь, говорит, свои права». – «Какие-такие права?» – Мордобой спрашивает. – «А такая, говорит, уж сторона американская, что всякого к себе принимают. Ничего, мол, не поделаешь!» А Мордобой в ответ: «Довольно подлая, говорит, господин концырь, сторона, ежели не могут мне возратить собственного лакея!»

– Так, братцы вы мои, простояли после этого ден шесть и ушли из Францисок без Максимки! – заключил Якушка и стал набивать трубку.

III

Несколько минут длилось молчание. Все были под впечатлением рассказа.

– И решил, подумаешь, человек! – в раздумье, подавив вздох, проговорил, наконец, белобрысый матросик. – Не сустерпел, значит!

– Дда... Видно, немоготу было, ежели решил! – заметил кто-то.

– Поляки сбили! – промолвил Якушка.

– Поляки?

– Тут есть их! – сказал Якушка и прибавил: – скоро, братцы, и бухта! Вот только в проливчик войдем.

Все стали смотреть вперед. Клипер, плавно рассекая воду, быстро подходил к так называемым Золотым Воротам, соединяющим океан с заливом.

Толпа раздвинулась, пропуская боцмана Щукина. Он подошел к кадке, протянул руку к Якушке за трубкой и, сделав две затяжки, спросил:

– Ты это про что, Якушка?

– Да про Максимку Прокудиновского... Помните, Матвей Нилыч...

– Как не помнить? Еще твой приятель был! – усмехнулся боцман.

– А что ж?.. Максимка парень был тихий... Ничего себе...

Боцман помолчал и, передавая трубку Якушке, проговорил:

– Тихой? Жалко, тихого тогда не поймали! Прокудинов по-настоящему бы разделал шкуру твоему Максимке... Тогда еще нонешних вольностей не было... Всыпали бы штук ста три линьков – закалялся бы бегать... А то ишь ты... выдумал!

⁴ Так матросы называют штатское платье. (Прим. автора.)

⁵ Концырь – искаженное консул.

И Якушка, и другие матросы молчали, но на многих лицах появились улыбки, не свидетельствовавшие о доверии к мнению боцмана насчет спасительности «разделявания» шкуры. Щукин отлично это знал и раздражительно прибавил, махнув головой по направлению к берегу:

– Поди, сдох у этих анафем?.. Тоже... барин какой... бегать!

Опять все молчали. Только чей-то льстивый голос раздался из толпы:

– Это вы верно, Матвей Нилыч... Это вы правильно... ей-богу...

Старый боцман повел презрительным взглядом на выдвинувшегося Трошкина, известного лодыря и подлипалу, имевшего репутацию скверного матроса, и, видимо, нарочно не обращая ни малейшего внимания на его слова, напустил на себя строгий вид и завел речь с подошедшим покурить фельдшером.

– Известно... пропасть должен человек! – лебезил Трошкин, желая подслужиться боцману и обратить на себя внимание. – Ты рассуди сам, Якушка! Что он будет здесь делать? И опять же совесть... это как?.. Потому, ежели человек нарушил присягу и убежал от своего господина...

– Ну... ты... ври больше, шканечная мельница! Нешто Максимка присягал? – крикнул на Трошкина Якушкин.

И Трошкин тотчас же умолк.

– Бога, я говорю, забыл человек и пропал, как нечистый пес. И поделом! Не бе-гай... Живи, где показано. Терпи... Помни, что сказано в Писании: блаженни страждущие... Вот что! – проговорил снова назидательным тоном плотник, грамотей, любивший читать священные книги, и вышел из толпы.

– Ты-то терпелив очень? – проговорил кто-то ему вслед.

– Рассудили?! – раздался вдруг тихий, отчетливый, несколько взволнованный голос, и все обратили внимание на низенького белокурого человека, выделившегося из толпы. Это был унтер-офицер Лютиков.

– Рассудили?! Уж по-вашему и пропал? А по-моему, он должен бога молить, что сподобил его господь человеком стать, а не то что пропал! По вашему понятию, видно, только и жизни, где шкуру спускают? – иронически прибавил он, взглядывая своими большими серыми, смотревшими куда-то вдаль, глазами на боцмана. – Человека тиранили, а он... терпи! В Писании сказано? Сказано в Писании, да не то... Эх... народ... народ!

Бросив эти слова и не дожидаясь ответа, словно бы на них и не могло быть ответа, Лютиков, взволнованный и слегка побледневший, вышел из круга и, облокотившись о борт, стал смотреть жадным взором на приближавшиеся берега.

Старик Щукин побагровел и насупился. Он исподлобья бросил взгляд на матросов и, принимая вдруг строгий начальнический вид, крикнул:

– Сейчас на якорь становиться, а вы тут лясы точите... Пошел по местам!

Матросы стали расходиться.

– Тебе, что ли, говорят, Трошкин! – неожиданно накинулся он на лебезившего матроса. – Что ползешь, как мокрая вошь! Пшел! – прошипел он, внезапно раздражаясь и рассыпаясь той артистической руганью, в которой не знал себе соперников.

– Иду... Ишь, дарма ругается! – проговорил себе под нос, отходя, Трошкин, обиженный не столько руганью, сколько невниманием к его льстивым словам.

Это замечание привело боцмана в ярость. Он коршуном налетел на Трошкина и, поднося к его лицу свой здоровенный кулак, прошипел:

– Я те поговорю!..

Но Трошкин отскочил в сторону и, заметив подходившего офицера, проговорил нарочно громко, искусственно обиженным голосом:

– Нонче правов этих нет, чтобы зря драться!

– Ах ты... правов?!

И Щукин уж хотел было показать «права», но в эту минуту увидал офицера. Он только сердито крикнул, опуская кулак, и в бессильном гневе, пропустив сквозь зубы «анафему», заходил взад и вперед по баку, бросая по временам на Лютикова взгляды, полные ненависти.

– Свистать всех наверх, на якорь становиться! – раздался с мостика звучный, довольно

молодой голосок вахтенного мичмана.

Боцман на ходу сделал скачок назад, рысью подбежал к люку и, расставив ноги и нагнув вперед голову, засвистал протяжным свистом в дудку и затем гаркнул во всю глотку своим осипшим, надорванным басом:

– Пошел все наверх, на якорь становиться!

На клипере воцарилась та благоговейная тишина, которая бывает на военных судах при входе на рейд.

– Приготовиться к салюту!

Бесшумно ступая по безукоризненно чистой палубе, матросы стали у заряженных орудий, готовых приветствовать гостеприимных хозяев.

IV

Пройдя Золотые Ворота (Golden Gate), названные так в честь вывезенного через них калифорнского золота, клипер вошел в большой, глубоко вдавшийся залив, окаймленный высокими, красноватыми, холмистыми берегами. Зеленые кудрявые острова с белеющими пятнами построек были рассыпаны по гладкому, чуть-чуть подернутому рябью, заливу. Сейчас за входом высился голый остров с казармой. На нем развевается звездный американский флаг, и в зеленые амбразуры внушительно смотрят дула орудий. Это – форт, защищающий вход от южан. Города еще не видно из-за острова. Только громадное серое облако, поднимающееся направо, показывает близость человеческого жилья.

Все смотрят в ту сторону.

Но старый артиллерист Фома Фомич не смотрит. Ему пока не до города. Он стоит у первого орудия и то и дело взглядывает вопросительным взором на мостик, где стоят капитан, старший офицер и лоцман, и ждет приказа начать салют. Он несколько взволнован, как бенефициант перед выходом на сцену.

– Можно начать, Фома Фомич! – говорит старший офицер, когда клипер, немного уменьшив ход, проходил мимо форта.

– Первое... пли! – командует Фома Фомич с сладостным служебным замиранием в голосе.

И, считая про себя вроде того, как певцы считают такты, «раз, два, три, четыре...» до пятидесяти, чтобы между выстрелами были одинаковые промежутки. Старый артиллерист перебегает от орудия к орудью, командуя все с большим оживлением: «Второе... пли! Третье... пли!..»

Выстрелы раздаются с правильными паузами, гулко раскатываясь по заливу и раздаваясь эхом в горах. Облачки белого дыма, вылетая из пушек, стелются по бокам клипера и, расплываясь, тихо тают в воздухе.

Прокомандовав свое последнее «пли» с особенным щегольством, словно певец, заканчивающий арию, Фома Фомич, сияющий и вспотевший, с видом именинника подходит к кружку офицеров, собравшемуся на шканцах. И в его красном, с выпученными глазами, лице, и в походке, и во всей невзрачной фигуре коренастого, короткошеего артиллериста чувствуется вопрос: «Каков был салют, а?» Но общее внимание поглощено берегом. Все равнодушно к торжеству Фомы Фомича. Только один иеромонах Виталий одобрительно пробасил:

– Важно палили, Фома Фомич!

Несколько обиженный, что салют не прочувствован, как следует, Фома Фомич отходит в сторону.

Когда дым рассеялся, и клипер, обогнув остров, повернул вправо, Сан-Франциско сверкало на солнце, среди зеленеющих куп. Лес мачт в гавани был, так сказать, у его ног. Чем ближе подходил, постепенно уменьшая ход, клипер, тем отчетливее вырисовывались дома и зеленые пятна парков и садов большого города, раскинувшегося на холмах и буграх, заканчивающихся вдали возвышенностями. Купеческие суда всевозможных форм и конструкций, начиная с быстроходного, стройного американского клипера и кончая неуклюжим, пузатым голландским «китобоем», стояли на рейде вместе с военными судами разных наций. Каждую минуту раздавались свистки, то пронзительные, то гудящие, с пароходов,

пересекающих залив в разных направлениях. Вот один из них, трехэтажный, весь белый, как снег, похожий на плавучий дом, с балансирующей машиной, мерно отбивающий такт, прошел близко от нас, полный пассажиров. С палубы несутся звуки веселой музыки. Куда ни взглянешь – везде оживление, деятельность. Маленькие буксирные пароходики, с сидящими в будках рулевыми, словно бешеные, снуют по рейду, предлагая свои услуги большим парусным кораблям, еле подвигающимся, несмотря на всю поставленную парусину, при тихом ветерке, к выходу из залива. Клубы дыма стелются над горизонтом. Яхты и шлюпки с парусами, окрашенными в яркие краски, скользят по рейду с катающимися дамами. И над всей этой оживленной картиной – высокое, прозрачное голубое небо, откуда ласково светит солнце, заливая блеском и город, и бухту с кораблями, и острова, и окружающие пики сьерр.

Глядя на панораму большого города, на лес мачт в гавани, на шумное оживление рейда, с трудом верилось, что эта кипучая жизнь создавалась со сказочной быстротой, и невольно вспоминалось, что еще пятнадцать лет тому назад места эти были пустыни. Тишина их нарушалась только криком белоснежных чаек, носившихся, как и теперь, над заливом.

Мы бросили якорь недалеко от города. Через несколько минут уж к нам явились поставщики, портные, китайцы-прачки, комиссионеры. Стол в кают-компании был завален всевозможными объявлениями. То и дело приставали шлюпки. С иностранных военных судов приезжали офицеры поздравить с приходом, и, исполнив этот обычай вежливости, существующий между военными моряками, то есть проговорив приветствие капитану и выпив затем бокал шампанского в кают-компании, – уезжали. Два репортера, явившись первыми, собирали сведения о клипере, записывали фамилии всех офицеров, осмотрели клипер и торопились на берег, чтобы напечатать отчет в вечерних газетах.

Скоро почти все офицеры, переодевшись в штатское платье, уехали на берег. На клипере остались те, кому приходилось стоять на вахте.

К вечеру уже из клубов, из библиотек были присланы всем именные билеты на право свободного входа и доставлены номера вечерних газет, в которых были помещены репортерские отчеты с перевранными русскими фамилиями.

V

Через несколько дней мне пришлось вступить на ночную вахту.

Рейдовые вахты, когда решительно нечего делать и не за чем смотреть, тянутся как-то особенно долго и скучно. Ходишь себе взад и вперед по мостику, обойдешь палубу, проверишь часовых и снова ходишь, пока не утомишься и не задремлешь, прислонившись к поручням.

Скоро полночь. После дневной суеты рейд стих. Корабли, слабо освещенные бледным светом молодой луны, казалось, дремлют на серебристой глади вод. Каждые полчаса с кораблей раздаются тихие удары колокола, отбивающие склянки, и снова тишина. Только из ярко освещенного города доносится неясный гул, да по временам долетают звуки музыки. На клипере давно все спят. Несколько человек вахтенных, примостившись к орудию, коротают вахту, лясничая вполголоса, да сигнальщик похаживает по юту в ожидании скорой смены.

Давно уже чья-то маленькая, худощавая фигура словно приросла к борту. Это – Лютиков. Хоть он и не на вахте, а бодрствует и все поглядывает на берег. Накануне он был на берегу, и город, судя по его восторженным, отрывистым словам, произвел на него сильное впечатление.

– Понравилось, видно, здесь? – спросил я, подходя к Лютикову.

Он повернул голову. Лицо его было бледно и задумчиво.

– А то как же! – проговорил он своим тихим внушительным голосом. – Вам хорошо, а нам и подавно!

И, видимо, отвечая на занимавшие его мысли, усмехнувшись, прибавил:

– А дураки вот говорят, что здесь пропадешь... Небойсь, он не пропал...

– Кто это?

– Да этот самый беглец... Максимка.

– Он здесь?

– Здесь. С тех пор, как ушел, здесь живет.

– Ты видел его?

– Видел!

Обыкновенно сдержанный и молчаливый, не любивший «лясничать» с офицерами, и если обращавшийся к нашему брату, юнцу-гардемарину, то по большей части с просьбой дать почитать книжки (до книг Лютиков был охотник), он этот раз удивил меня общительностью. С каким-то, тогда непонятным мне, возбуждением расхваливал он жизнь беглеца на чужбине. По словам Лютикова, Максим (а по-здешнему «мистер Макс») живет отлично: зарабатывает портным мастерством более ста долларов в месяц, ни от кого обиды не терпит, недавно женился на чешке и не перестает благодарить господу за то, что наставил его на путь. И Прокудинова добром поминает: не будь, говорит, он такой зверь, не видать бы мне хорошей жизни.

– Как есть, человеком стал! И с понятием, не то, что наш брат... Здесь понял он, какова воля и каково без нее людям жить! А вы думали как? Нельзя этого понять темному мужику? – вдруг прибавил Лютиков с вызывающей, насмешливой иронией, обычной у него в беседах, которыми он изредка удостаивал некоторых гардемаринов и – чаще других – меня.

– А по России не скучает? – спросил я.

– Может, и скучает, да Мордобоя не хочет. И кулик чужу сторону знает, и журавль тепла ищет – человек и подавно. Сладко, что ли, с Прокудиновым было жить? В России что наш брат? Последний опорок, помыкай, кто хочет... А здесь он – вольный человек, свои права имеет. Всякому это лестно, как вы думаете?.. Это вот разве Щукину в обиду... Ему – плюй в глаза – все божья роса!

– Разве ты не скучал бы по родине?

– А не знаю, не пробовал! – усмехнулся Лютиков и продолжал: – по-аглицки так и чешет теперь Максимка... И газеты, и книжки читает: одно слово – человек с рассудком! При охоте, чай, не мудрость языку научиться. Как вы полагаете?

– Полагаю, не мудрено.

– То-то и я думаю... Дда... живут же люди! – вздохнул он. – Как хочешь, молись господу, никто твоей совести не неволит... – прибавил Лютиков строго. – И люди у них все равны... Президент-то ихний – дровосеком был⁶... Наши и не поверят!

Лютиков замолчал и, немного погодя, спросил:

– Долго мы простоим здесь?

– Кажется, недели полторы. А что?

– Ничего... Так спросил.

И затем Лютиков опять задал вопрос:

– Верно, команду еще отпустят на берег?

– Я думаю, отпустят.

– Не слышали, когда?

– Не знаю... Да если тебе хочется на берег, отпросись у старшего офицера. Тебя во всякое время и не в очередь отпустят. Хочешь, я скажу завтра старшему офицеру? – предложил я, зная щепетильность Лютикова.

– Нет, благодарю вас... Уж я со всеми съеду...

– Когда еще отпустят!

– Подожду...

Я хотел было продолжать разговор, но Лютиков, видимо, не желал этого. Он неохотно и скупно подавал реплики, под конец смолк и ушел вниз. Я опять зашагал по мостику и, наконец, задремал. Бой склянок пробудил меня. Я отправился на бак проверить часовых, гляжу – Лютиков стоит у борта, не спуская глаз с берега.

– Что это ты не спишь, Лютиков?.. Уж не собираешься ли остаться в Сан-Франциско? – пошутил я.

Лютиков резко ответил, что ему нездоровится, ушел скоро вниз и больше не показывался.

⁶ Президент-то ихний – дровосеком был... – Имеется в виду Авраам Линкольн (1809–1865), который прежде, чем быть избранным в президенты США (1860–1865 гг.), работал поденщиком, плотником, лесорубом, землемером и т.д.

Мне показалось, что шутка моя смутила его. Но в ту пору я не обратил на это внимания. Только потом я невольно припоминал и его смущение, и его разговор в эту ночь.

VI

Оригинальный человек был этот Лютиков. Он резко выделялся из общего уровня. И взгляды его, и суждения, вырывавшиеся случайно, и пытливый, несколько озлобленный ум, и характер его отношений к офицерам и матросам. Все это было не совсем обыкновенно в матросе, да еще в матросе крепостного времени. Недаром и дальнейшая его судьба была тоже не совсем обычайна.

Это был молчаливый, необыкновенно сдержанный человек, лет тридцати пяти, худощавый, низенький, крепкий блондин, с русыми волосами, окаймлявшими самое обыкновенное, скорее некрасивое, чем красивое, простое русское лицо. Обличьем он совсем не походил на обычные типы матросов. В его маленькой, словно подобранной в себя, фигуре не было ни выражения удали, ни того особого забубенного матросского шика в манерах, речах, ношении костюма, который бывает у долго прослуживших лихих матросов. С виду Лютиков казался даже не бравым, но в первый же шторм, выдержанный клипером в Немецком море, он показал находчивость и бесстрашие видавшего виды моряка. Он не брал в рот ни капли вина, не курил, никогда не ругался, держал себя строго и серьезно и нередко в свободное время читал Евангелие и жития святых, пока впоследствии не увлекся и иными книгами. Ходили слухи, что Лютиков раскольник, но о религиозных вопросах он никогда не говорил и терпимо относился к чужим вероисповеданиям. Однажды он с сердцем упрекал двух матросов, вздумавших как-то смеяться над религиозными обрядами матроса-татарина.

Но более всего поражало в Лютикове – это чувство собственного достоинства, с каким он держал себя со всеми, и особенно с офицерами. В его сдержанных манерах, в твердом, серьезном выражении взгляда, в толковых, коротких ответах было что-то такое, что невольно внушало уважение; в то же время чувствовалось, что под наружной сдержанностью Лютикова возможна буря, что этот, смирный с виду, человек не снесет безнаказанно оскорбления. И все обращались с Лютиковым не так, как с другими. Даже те офицеры, которые не привыкли стесняться в выражениях с матросами, стеснялись с Лютиковым и никогда не бранили его площадной бранью.

Впрочем, и трудно было придраться к нему. Своим безукоризненным поведением он, словно щитом, прикрывался от возможности каких бы то ни было столкновений. Натура самолюбивая, он точно всегда был настороже, особенно первое время плавания, пока Лютикова не узнали и к нему не установились известные отношения.

Он был лучший унтер-офицер, отличный рулевой, первый стрелок. Всякая работа как-то спорилась у него в руках и под его присмотром. На грот-марсе, где он заведовал, работали лучше, чем на других марсах, и работали основательно, а не напоказ. Лютиков был исполнителен до педантизма и усерден, но в его усердии не было и тени угодливости или желанья отличиться в глазах начальства. Он избегал всякой похвалы или принимал ее с суровым равнодушием человека, не придающего ей никакой цены.

Он держался особняком, не сближаясь с «баковой аристократией», т.е. с боцманами, унтер-офицерами, фельдшером и писарями; не сходилась Лютиков и со старыми матросами, зато он необыкновенно мягко и тепло относился к молодым матросам, попавшим от сохи в море. Как-то случилось само собою, что он взял их в начале плавания под свое покровительство. Он учил их морскому делу, ободрял трусливых во время непогоды и нередко защищал безответных от нападков боцмана, причем громко говорил, что они сами виноваты, если позволяют боцману драться, несмотря на категорическое запрещение капитана. К Щукину, отчаянному ругателю и любителю драться, Лютиков относился с некоторым презрением и не достаивал его споров. В свою очередь, и старик боцман ненавидел от всей души Лютикова.

– Ему, подлецу, в арестантских ротах быть за его понятия, а не то что унтер-офицером! – говорил он, бывало, в интимных беседах с такими же стариками, возмущавшимися, как и он, новыми порядками.

Эта ненависть, помимо разницы взглядов, питалась еще и подозрительностью Щукина, видевшего в Лютикове конкурента. Не раз уже старший офицер страшал боцмана, что его за пьянство разжалуют из боцманов... Кому же в таком случае быть боцманом, как не Лютикову? Его хорошо знал и капитан по прежней службе, он же его и взял на клипер, и была молва, что Лютикову еще давно предлагали быть боцманом, но он отказался от этой чести.

Среди матросов Лютиков пользовался большим авторитетом, его уважали, но он был несколько чужой им, и эта разница чувствовалась сама собой в осторожно почтительных отношениях, установившихся к нему со стороны матросов.

– Башковатый человек, что и говорить! – говорил про него Якушка, – и жизни правильной... Ему бы не матросом быть...

– А кем? – спрашивал я.

– Да по другой какой части...

– Почему?

– Умен он очень для матросской жизни... Это не годится... И гордыня в нем есть, даром, что тих... Нашего брата обидь – оботремся, а Лютиков – нет!

– Разве это худо?

– Хорошо ли, худо, да не к нашему рылу! – отвечал Якушка.

Лютиков был из зажиточной раскольничьей семьи архангельских поморов⁷. Отец его, человек строгого благочестия, был одним из видных и влиятельных сектантов. С юных лет Лютиков выезжал с отцом на рыбачий промысел. Эти плавания на карбасе в открытом море развили в мальчике энергию, приучили к опасностям, заставили полюбить природу. По зимам он жил в глухом лесном скиту, где нередко подолгу жилали беглецы, скрывавшиеся от преследований за веру. Там, у старой тетки, начетчицы⁸, суровой фанатички, мальчик выучился грамоте и письму и там же, в долгие зимние вечера, слушал, бывало, нескончаемые рассказы гонимых странников и бегунов о притеснениях, испытываемых русскими людьми, искавшими религиозной правды. В этой-то среде религиозного фанатизма, подвижничества и озлобления креп религиозный пыл впечатлительного мальчика и питалась ненависть...

Лютиковых долго не трогали. Благодаря взяткам местным властям, скит держался, и раскольники покупали право молиться по-своему. Лютиков, живший с отцом в ближней деревне, собирался было жениться, как в 1852 году, совершенно для раскольников неожиданно, случился погром. Ночью налетели чиновники, запечатали скит, арестовали живших там и наутро арестовали всю семью Лютикова. Дело тянулось долго при старых судах. Три года высидели Лютиковы в остроге.

– В те поры обо многом передумал я, – рассказывал однажды Лютиков, вспоминая эти годы. – Признаться, уж тогда я начинал смущаться в нашей вере... Очень уж мы были к другим строги... Кто не по-нашему молился, того ровно поганым считали... Не то Спаситель наш проповедовал...

Лютиков замолчал и посматривал на даль темневшего океана. Ночь была чудная, нежная, одна из тех прелестных ночей, какие бывают в тропиках. Мы стояли с Лютиковым на вахте. Делать на вахте было нечего, не приходилось шевелить «брасом». Подымаясь с волны на волну, шел себе клипер под всеми парусами, подгоняемый ровно дующим пассатом, узлов по восьми, и вахтенные матросы, усевшись кучками, коротали вахту в тихих разговорах. Только вахтенный офицер ходил взад и вперед по мостику, посматривая по временам на горизонт, не темнеет ли где шквалистое облачко, да покрякивая изредка часовым на баке: «вперед смотреть!»

– Чем же кончилось дело? – спросил я после того, как Лютиков смолк.

– Известно, чем кончались такие дела!.. – с озлоблением промолвил Лютиков. – Много

⁷ Архангельские поморы – жители беломорского побережья, традиционно придерживавшиеся старообрядчества беспоповщинского толка.

⁸ Начетчица, начетчик – у старообрядцев – человек, начитанный в богослужебных книгах печати до реформы XVII века и их толкователь.

народу пошло в Сибирь, а меня сдали в матросы...

– Живы отец с матерью?

– Умерли... Никого почти из родных не осталось в живых. Брат старший есть, ну, да тот давно бога забыл...

Все это Лютиков рассказывал уж после того, как между нами установились более или менее близкие отношения. В начале плавания, когда я, заинтересованный Лютиковым, обратился было к нему с разными вопросами, он отвечал сухо и неопределенно, с насмешливой улыбкой, говорившей, казалось: «тебе какое дело?»

Это меня обидело несколько. В качестве либерального юнца, искавшего сближения с матросами, я наивно полагал, что выражаю сочувствие, и не сообразил тогда, сколько было грубой неделикатности в этих расспросах молодого барчука. Все дальнейшие мои попытки вызвать Лютикова на разговор не имели успеха. Лютиков, видимо, относился ко мне с тем же подозрительным недружелюбием, сдерживаемым различием положений, в форме сухой почтительности, – с какими относился вообще ко всем офицерам. Только к одному капитану он, по-видимому, питал нежные чувства, а когда капитан обращался иногда к Лютикову с приветливым словом, Лютиков бывал доволен.

Вскоре, однако, неприязненность его мало-помалу прошла. Он сделался общительнее, сам вступал в разговоры, просил книжек и требовал объяснений, если не понимал прочитанного.

Эта перемена в Лютикове произошла после того, как он побывал первый раз в своей жизни в иностранном порте. Это был Лондон, куда клипер зашел на несколько времени для починки в доки.

Лондон произвел на Лютикова громадное впечатление. Он вернулся на клипер очарованный. На другой же день он первый заговорил со мной, восторгаясь всем виденным и расспрашивая, как живут люди в чужих землях и почему все там не так, как у нас.

Он побывал на берегу еще раз и вскоре после этого обратился с просьбой: дать ему почитать книжку о чужих землях. Я дал ему какое-то путешествие, бывшее в библиотеке. Через несколько дней он возвратил книгу и просил других. После того он то и дело обращался то ко мне, то к кому-нибудь из гардемарин с вопросами. Достоин внимания, для характеристики Лютикова, что вопросы его главным образом касались общественного и религиозного устройства. Видно было, что мысль его деятельно работала.

Другие европейские порты усиливали первое впечатление. Лютикову все нравилось, все казалось непохожим на то, что он видел прежде. Он пристрастился к чтению и особенно любил книги исторического содержания. В его уме все виденное и прочитанное складывалось в представление чего-то яркого и необычайного, и в разговорах его чаще прежнего прорывалась нота озлобления при рассказах о жизни на родине. Я не раз вступал с ним в споры, доказывая, что он слишком увлекается видимым блеском заграничной жизни, и что не все там так хорошо, как кажется, но он не верил моим словам. Лютиков принадлежал к числу тех самостоятельных натур, которые до всего доходят пытливостью своего ума.

Когда я, бывало, спрашивал Лютикова, чем думает он заняться по выходе в отставку (срок его службы кончался по возвращении в Россию), он обыкновенно отвечал, что и сам не знает.

– А в ластовые офицеры?.. Выдержать экзамен не важность...

– Нет, уж куда... Ни пава, ни ворона... Видал я ластовых и шкиперов... Тоже офицеры из нижних чинов... Федот да не тот!..

VII

Целую неделю на клипере была работа. Переменили и вооружили новую грот-марса-рею. Лютиков был занят с утра до вечера и работал с обычным своим усердием. Тем не менее я замечал в нем какую-то перемену. Нередко, проработавши весь день на марсе, Лютиков вместо того, чтобы идти спать, долго ходил наверху, серьезный, задумчивый, словно бы удрученный какими-то думами. Я спросил: «что с ним?» Он коротко и сухо отвечал, что ничего, видимо избегая разговоров.

Когда работы были окончены, и я узнал, что через несколько дней команду спустят на берег, я поспешил сообщить об этом Лютикову, рассчитывая обрадовать его этой новостью. Но, к изумлению моему, он принял это сообщение не только без радости, а, напротив, как будто с неприятным чувством.

– Разве тебе не хочется на берег? Сан-Франциско тебе так понравился?

Он промолчал:

– Правда, сегодня на баке рассказывали, будто капитан от нас уходит?

Действительно, пришедший накануне корвет привез слух, будто наш капитан получает другое назначение, и что к нам на клипер будет назначен капитаном один из старших офицеров, известный на эскадре как человек крутой, суровый, школивший матросов по обычаю прежнего времени.

Я передал Лютикову, что слухи были.

– Другие порядки, значит, пойдут! – проговорил Лютиков. – Такого, как наш капитан, редко найдешь... Хороший капитан, и людям жить можно, а как попадет какой-нибудь зверь – мука пойдет... Опять пороть людей будут...

– Ведь ты знаешь, что телесные наказания отменены. Недавно приказ читали...

– Мало ли что отменено, а небойсь, на других судах и порют, и в зубы бьют! – с насмешливой злостью возразил Лютиков. – И теснить людей по закону запрещено, и грабить запрещено, а люди людей и теснят, и грабят! И староверам по закону по-своему молиться можно, а небойсь, коли не заткнешь пасть деньгами, нельзя... Все можно, только не нашему брату! – прибавил он с каким-то страстным озлоблением. – Да и вам, господа, все можно, да не очень! – с иронией продолжал он.

Через день в Сан-Франциско пришел адмирал, и слухи о новом назначении капитана подтвердились. Все, и офицеры, и матросы, искренно сожалели, что капитан оставляет клипер. Только один Лютиков, по-видимому, не разделял общего сожаления. После этого известия он даже повеселел, что крайне удивило меня в ту пору.

В тот же день команду отпустили на берег. Лютиков уехал необыкновенно веселый. Никогда не видал я его в таком хорошем настроении.

Вечером, когда мы сидели в кают-компании за чаем, гардемарин, ездивший с командой на берег, доложил старшему офицеру, что все вернулись, исключая Лютикова.

Старший офицер удивился, зная пунктуальную аккуратность Лютикова. Он предположил, что случилось что-нибудь особенное, если Лютиков опоздал на шлюпку, и приказал одному из офицеров завтра пораньше ехать в город навести справки о Лютикове через консула. Никто, разумеется, и не подозревал, что Лютиков мог дезертировать.

Посланный офицер вернулся, не узнавши ничего.

Прошел еще день. Старший офицер начинал беспокоиться. Уж не заболел ли Лютиков?.. Он хотел было снова послать офицера на берег за справками, как капитанский вестовой доложил ему, что его просит к себе капитан. Через четверть часа наш милейший Василий Иванович вернулся взволнованный. Несколько времени он сидел молча, нервно теребя усы, и, наконец, таинственно сообщил на скверном французском диалекте, что Лютиков бежал.

Это известие поразило всех. В первую минуту никто не хотел верить, что Лютиков мог бежать.

– И я, господа, никогда не поверил бы... Такой отличный был унтер-офицер и вдруг...

Он рассказал, что капитан только что получил письмо от Лютикова. В письме он просит у капитана прощения за свой поступок и – вообразите! – сообщает, что давно задумал бежать и что намерение это ускорилось известием об уходе капитана.

Старший офицер просил нас держать бегство Лютикова в секрете от матросов, чтобы не произвести дурного впечатления.

– Если бы бежал какой-нибудь негодяй, а то лучший унтер-офицер. Черт знает, что такое! – прибавил в недоумении старший офицер.

На следующий день Василий Иванович объявил боцману Щукину, что Лютиков утонул, купаясь на берегу. Боцман выслушал молча, но с видимой недоверчивостью.

Дня через три после этого клипер ранним утром снимался с якоря. Опять все были наверху, но настроение всех было не такое праздничное, как при входе на рейд. Выйдя из оживленной бухты, клипер на минуту остановился, чтобы спустить лоцмана, затем мы прекратили пары и вступили под паруса. С ровным свежим ветром клипер быстро уходил от обрывистых, красных берегов Калифорнии.

Когда подвахтенных просвистали вниз, кучка матросов, по обыкновению, собралась на баке вокруг кадки с водой. Молча посматривали матросы на убегающий берег, изредка перекидываясь краткими замечаниями. Кто-то из молодых матросов заговорил было о Лютикове, но ни одна душа не поддержала разговора. Все сердито взглянули на говорившего, видимо избегая высказывать свои мнения.

– Беспременно сбежал, анафема! – проговорил вдруг Щукин, обращаясь к одному старику плотнику, но, очевидно, говоря для всех. – Чем отплатил за доброту, подлец! Сраму сколько одного... Русский унтерцер и поди ты!.. Вот они, эти порядки новые... Распут один! – с злорадством прибавил боцман, окидывая суровым взглядом матросов. – Прежде матросы не бегали... не срамили флота... Как же! Грамотей был, тоже книжки читал... А выходит – сволочь!

И расходившийся боцман продолжал косить ненавистного ему Лютикова.

Но матросы слушали боцмана в угрюмом молчании. Один за одним уходили они прочь, и скоро Щукин остался в компании двух-трех человек.

– Так Григорьич, значит, не утонул, Якушка? – тихо спросил у Якушки тот самый белобрысый молодой матросик, который интересовался знать, какой державы американцы.

– А ты и поверил, простота, что господа говорили? – усмехнулся Якушка. – Григорьич недаром на берегу с Максимкой путался!..

– Помоги ему господь! – прошептал в ответ матросик и перекрестился.

– Небойсь, Григорьич не пропадет у американцев... Башковатый он человек, Григорьич. Он, братец ты мой, до всего дойдет... Однако, свежеет!.. Ишь, зайцы-то расходились! – вдруг круто переменял разговор Якушка, увидав подходившего офицера.

Ветер крепчал, посвистывая в снастях. Словно птица, расправившая могучие крылья, клипер, накренившись набок, несся все быстрее и быстрее, легко перепрыгивая с волны на волну и раскачиваясь. Седые гребешки волн, с шумом разбивающихся о бока вздрагивающего клипера, все чаще и чаще обдавали брызгами палубу... Скоро берега скрылись из глаз. Кругом одна беспредельная холмистая равнина бушующего океана да небо, покрытое бегущими облаками... Вдали, на горизонте, собирались тяжелые свинцовые тучи.